

**П**оземка, разыгравшаяся в поле еще до полудня, к вечеру обернулась хлесткой морозной метелью. Так и удивляться нечему, пора свыкнуться — испокон в Ракитенке велось: под Зимнего Николу куролеси-ит, не приведи Господь!

Но Алексеичевыми молитвами, может, к рассвету и уляжется, как-никак, завтра в деревне Престол-день, к тому же — нынче у Алексеича восемьдесят годков, как именины.

Хоть и оттяпал он попридержанному заради такого великого дня последнему в его хозяйстве гусенку голову, хоть и настряпал на Маланьину свадьбу холодцу, да и самогонка в чулане еще с октябрьских прокисает, но от этой треклятой метели ни праздник Миколе Алексеичу, ни «менины» не в радость.

Раздернет он занавески, проскребеть-продышит в шибке дырочку, выглянет за окно, а там — мать Пречистая! — такая несусветная круговерть! Где земь, где верхи — таращись не таращись — вовек не разобрать. Поди сыщи теперь проселок! Перебило, перемело — любо-дорого.

По обыкновению-то, в погожую ночь местные деревушки явственно перемаргиваются огнями. Даже когда от давно обжи-

тых, старых поселений осталось по одному-два двора, невозможно было облудиться: прямо перед Ракитенкой, верстах в трех-четырех, тремя глазами помигивала Корятенка, чуть левее от нее — одним-единым — Гавриковы Дворики, а позади Ракитенки, на правом заречье, перепорхивала горсточкой светлячков Малые Лужки.

Не позавидуешь тому, кто рискнет в нынешний чертогон отправиться в путь. Ветер пригоршнями дробных гвоздей швыряется в лицо, слепит глаза. Волей-поневоле, уворачиваясь от его порывов, незаметно для себя начинаешь забирать вправо и кружить, кружить по приречью, куда неподошь не жжалится и не наткнешься, почти затерянный в этом оглушительно пустынном мире, на какие-нибудь знакомые вешки — на три толстенных осокоря у Савушкина брода или на полуразметанный ржаной стог на краю раkitенской околицы. По ним, по этим едва приметным знакам, крестясь и не переставая возносить хвалу Спасителю, пробьешься к жилью...

На левом берегу невеликой речки Проньрки, если напрямки, так недалеко, верстах в двух от Малых Лужков, но немерено в какой предельней дали от большака, особенно в стылую пору, пригнездилась эта деревушка не деревушка, скорее хуторок, — Ракитенка. Раньше-то, старики сказывали, при матушке Екатерине благоденствовало на этом месте большое торговое селище Ракитная застава. От того селища в наши дни уцелел лишь хуторок, а потому и звать-величать его, малюсенького, иначе как Ракитенка, никто не насмеливается.

Наверно, чтобы оправдать свое имя, обросла она, с какого боку ни подступишь, высоченным, дающим несчетную поросль раkitником. Свистит, завывает меж его подпирающих тучи зеленушных стволов сиверко, словно тешится прижившийся в нем Соловей-разбойник.

В сугробы обратились порушенные раkitенские хаты, вернее, их скелеты. И безлюдье такое дико! Ни твякнет застуженно собачонка, ни рыкнет, прокашлявшись, тракторишко. По правде сказать, если бы не торчащие кое-где из заносов длиннющие, закопченные шеи русских печей, то любого путника кинуло бы в дрожь: рядками округлые заснеженные холмики, словно по переметенному погосту пробираешься — невольно оторопь возьмет.

Под самые застрехи, страсть как завалило снегами и Лексеичево подворье. От изгороди только верхушечки торчат. Потонули в наметах сараюшки и амбар. Ушел под снег вместе с побуревшими мальвовыми будылями прикрылечный палисадник. Старая Лексеичева пятистенка, обколупленная ветрами и проливнями до ореховых ребер, ни дать ни взять — зверь какой-то дикий. Загнанно нырнула, запряталась в сугроб по самую шею и сверкает оттуда сквозь метельные порывы усталыми глазенками кухонных оконцец.

Глушь в Ракитенке такая, что очень даже запросто ночами бродит по ее переулкам забредшее из Почуй-леска кабанье стадо, голов на пятнадцать, не меньше. Не раз в лихо студеные ночи, выскакивая за топлей, наткался на них Лексеич и на собственном подворье. По такому случаю старик даже завел себе обычай — оставлять на крыльце, у дверей, насаженные на длиннющий черенок вилы.

Годков эдак двадцать назад... Боже ты мой! Когда это было?.. И к чему теперь о том времени и той полносильной жизни вспоминать?.. Разве сдюжить Миколу Лексеичу в одиночку на этом захудалом, никудышном хуторе? Вот то-то и оно, что хоть пупок развяжи от натуги, а обиходить зе-

мельку, как ни изловчайся, все одно не обиходишь. Потому-то, с каждым годом урезая по сотке-две, потерял Лексеич сначала в поле, примыкавшем к его бахче, распашной клин под картошку да гарбуза, потом не осилил содержать и саму бахчу, а нынешним летом и вовсе наковырял прямо на подворье несколько гряд под зелень, огурцы-помидоры — вот и весь его огород.

Правда, ему теперь и этого хватает. Много ли старому человеку нужно? Лексеич давно для себя определил: как бы ни шли дела, они всегда могут быть еще хуже. Сколько ровестников, дорогих ему сердцу людей покоятся на раkitенском погосте! Длинна к Господу очередь!

А ему за что, и сам Микола не мог взять в толк, Господь подарил возможность всех самолично, как искони велось, оплакать и спроводить на Поповку. Понимание этого помогало старику выживать. Прошлое прошло. И к нему никогда уже не будет возврата: чернобыльем поросли стежки.

Размышления о других отвлекали Лексеича от постоянных мыслей о себе. Петровна его, почитай, годков семь как преставилась. Старший сын еще с первой заварушки остался лежать в Чечне. Дочка Катерина вот уже четверть века дожидается из походов своего подводника в далеком Североморске. Не было письма, чтобы не манила она к себе отца. Но Лексеич уперся. Знай твердил: мол, смерти моей хочешь, кто ж старые деревья пересаживает? После таких слов Катерина об отцовском переезде уже и заикается не заикается.

Есть у Лексеича еще один сын — Витька, младшенький, «поскребышек». Старик в нем души не чаёт. К нему бы, пристроившемуся после армии в райцентре шоферить, может, и прилепился бы Лексеич в конце жизни. Только не зовет его Витька к себе, а сам старик и не напрашивается. Хоть меж ними дорога невелика, только на родном пороге объявляется Витька с разлюбезной своей Нинкой раза три в год, не чаще: на Пасху, к матери на могилку; по осени, как водил еще старик хозяйство, за поспевшей огородиной; и в завтешний день, на Зимнего Николу. Лексеич не обижается... Понимает: «дела не пуцают»... Только нестерпимо ждет... Микола Лексеич стар и мудр, он давным-давно утвердился в том, что если не будешь людям навязываться, то наверняка сумеешь разобраться, насколько они в тебе нуждаются.

Добрый и верный Лексеичев товарищ, пес по кличке Кудеяр, сдох еще за месяц до Петровниной кончины, и, хоть на хуторе без сторожа никак не обойтись, несколько лет старик собаку не заводил: мол, вдруг и я помру, с кем тогда псина останется? Но прошлой осенью, аккуратно после Успенья, прибился к Ракитенке еще совсем молоденький, дурашливый песик. Да не простачок, по всей видимости, охотничьей породы. Скорее всего, вышел с хозяином первый раз, погнался за дичью и по неопытности облудился.

Старик перепробовал все клички, которые только знал, но приبلудный ни на одну из них даже ухом не пошевелил. Так прижился у Лексеича пес по кличке Песик. Потому как всякая иная живность у старика давным-давно перевелась, он был несказанно рад этой притулившейся к его старческому одиночеству живой душе. Песик же, намыкавшись по округе, до сумасшествия полюбил своего спасителя и с самой первой минуты не отходил от него ни на шаг.

С каждым годом старику все жутче коротать зимнюю студеную пору. Если бы не Песик да ни с того ни с сего вернувшийся вдруг из городов в

Малые Лужки, на отеческий корень, тоже завдовевший, знакомый еще из детских лет Митька Песков — Дмитрий Палыч Песков, — по правде сказать, без них бы хоть от тоски вой.

А все от накатывавших, причем каждый раз врасплох, тяжелых думок. Взяли ведь манеру: подвалят, подлые, к Лексеичу в самый неподходящий момент, когда, к примеру, пробивается он сквозь сугробы под крутояр за водой, — туда еще как-нито спустится, а вот обратно, с полными, на таковскую погибель разве в восемь десятков вскарабкаться? Или, к другому примеру, когда рухнет, снеся половину крыльца, снесенный ветродуем тополь. По обыкновению, словно сердце ему навещует, именно в такие, до душевного скрипу непереносимые моменты Палыч и появлялся на Миколином дворе.

И уж сегодня, хоть по такой погоде хороший хозяин собаку на прогул не выпустит, не попроведать Лексеича он никак не мог.

— Здоровенько живешь, Миколай Лексеич? — обтопотав в сенцах валенки, распахнул Дмитрий Палыч обнесенную снежными зайцами дверь.

— Ах ты, друг сердешнай! Проходи, проходи! Да как же угораздило тебя в такую малахольную разметелицу? А как заплутал бы, что тогда? — бросив подкладывать поленья, Лексеич кинулся от печки к запорошенному — снеговик, да и только! — Палычу.

— А и блуднул маленько, не без того! — поручкавшись, принялся разблачаться гость, — совсем погоды сбесились. Но, видать, есть еще порох в пороховницах. Ветер навстречу, а я, словно Песик, иду и иду на дымок от твоей печурки. Нас с тобой, Микола, разишь запугать?

Действительно, перебедовавших пацанятами два с лишним года под фашистом, насмотревшихся таких страстей, от одного воспоминания о которых стыла в жилах кровь, их всю оставшуюся жизнь трудно было уже чем-либо настращать.

Скинув тулуп и оставшись в легонькой, подбитой зайцем тужурке, Палыч прошел поближе к печке, погрел руки о жаркие кирпичи.

— Ах, что ж это я, — вспомнил гость о чем-то, кинулся к вешалке, выставил на стол бутылку армянского, — вот из старой, городской жизни затерялась! Ну, Микола, с именниками тебя! — обнял друга, — главное, будь здоров! А все остальное у нас с тобой уже было!

Лексеич и всегда-то не выделялся богатырским сложением, а за нынешний год, как показалось Палычу, еще и высох. В растоптанных валенках, белый, как лунь, он и обличем стал походить на отшельника.

— Да что ты, что ты! Какие гостинцы! Спасибочки за то, что пробрался в такую пургу, не забыл-таки старого друга. Ну, тогда что ж тянуть, давай-ка ближе к столу, шчас мы тебя согреем! У нас и свои на сосновых шишечках коньяки не выводят, градусом твоим армянским ни в жисть не уступят, — хихикнул Лексеич и принялся метать на стол угощения, приговаривая: — Все слятское: и холодчик на птичьих потрошках, и антоновочка на кошачьей мятке моченая, и рыжички хрусткие-е — с Почуй-леска.

«Сдавать начал Палыч, — суетяся вокруг гостя, заметил про себя и Микола. — Вишь ты, что время с человеком делает! Куда подевался Митька-орел? Какой там орел? Ни дать ни взять птиц щипаной, пегой породы. А бывало-то, все девки в округе — его, любая за честь почитала прощеголять с ним ввечеру вдоль деревни».

Старики уселись супротив друг дружки, пригубили Миколиной «сосновочки» и, как обычно, повели неспешный разговор. Куда торопиться-то? Ночи в декабре о-го-го какие! А спать, по словам Миколы, в их возвра-

сте расточительно, не за горами времечко упокоенное, еще належишься-наломчишься.

— Ну, Митрий, сказывай, как ты там, в Лужках, бедолажишь? — принялся за расспросы Лексеич.

— Вот еще! Почему ж это бедолажу? — то ли у себя, то ли у сотоварища своего спросил раздумчиво Палыч. — Я в своих Лужках, как на курортах, поживаю.

— Ну да, конечно... знаем мы эти курорты, сами на таких же обретаемся: вместо моря — Проньрка, по соседству — две бобылки, обросшие мхом и мухоморником, помнящие еще царский режим.

— Ну, Сергевна-то еще ничего! — как-то загадочно замялся Дмитрий Палыч и потянулся к подоконнику, где ровной стопочкой лежали листки прошлогоднего отрывного календаря. — Почитай, на пять годков меня моложе будет.

Лексеича и просить не нужно, допялся до горячей припечки, подал гостю клетчатый мешочек со свойским табаком. Еще по осени нарезал он просохший до хрусту самосад, щедро пересыпал его насбиренным аккурат в самое солнце в Лешаковой лощине донником и теперь каждый раз с превеликим почтением угощал друга свойским куревом.

— Годиков двадцать-тридцать назад, твоя правда, была она бабонька хоть куда, прям-таки кровь с молоком и стройная, статная, что твоя церковная свечка, — поддакнул Лексеич Палычу, но потом, справедливости ради, зная друга, отодержно усомнился: — А теперь что жа?.. — и, не рассчитывая на ответ, засопел в усы, слюнявя завернутую сигарку.

— Ты ж самого главного не знаешь, друг мой ситцевый, — Палыч, чужой настрой Лексеича, не стал открываться, запахнул потуже душу, как ни в чем не бывало, перешел на другую волну, — две недели назад побывал я в городе у своих.

— Что ж не упредил? — пощунял Микола друга. — Я бы медочку сотового по такому случаю подкинул — внучат, невестку побаловать. Трохи еще осталось.

— Какой там упредил! — заоправдывался Палыч. — Гришка налетел: сбирайся, мол, и слушать не стану... А мне что ж сбираться? Только подпоясаться... Ну и вот, значит, двери-окна — на крест... Хватит, мол, бירוковать, ай мы тебе чужие? Я ему: так-то оно так, сынок, только Машка твоя не шибко меня привечает...

— Ну, а Мишка-то что? — встрял Лексеич.

— Мало ли, грит, что ей не по нраву... И повез меня к себе.

— Видать, не ко двору пришелся, коли снова в Лужки припожаловал?

— Кому ж не ведомо, — вздохнул Дмитрий Палыч, — муж — голова, а жена — шея, куда повернет голову, в ту сторону она и обратится... Как в воду смотрел я. Не прошло и недели, невестка стала фортеля выкидывать.

— Что ж такое? Вроде ты — мужик не из буянистых. Опять же, себя блюдешь, можно даже сказать, аккуратист.

— Э-эх, милай ты мой! Кому надо, найдет к чему прицепиться: не туда сел, не там прилег... Да мало ли чего!

— Словом, драпанул ты, как я понимаю, восвояси. Коротка же, Палыч, у тебя терпелка! — улыбнулся, не скрывая довольства, Лексеич.

— Что же мне было делать? Дождаться, когда Мишка со своей отравой из-за меня переругаются? Не-е! Я тишочком, будто в магазин за папиросами...

— Ну и что же Мишка?

— Что, что? Ясный перец что — приезжал уж. Что ж, мол, ты, батя, в такие годы выкомариваешь? Мы с ног сбились, все больницы-морги обзвонили!

— А ты?

— А я — наотрез!

— Вот и ладненько! Не грусти, Митька! — хлопнул Микола друга по плечу. — Нам бы только до Сретення дотянуть, а там, глядишь, и травка не за горами. А уж летом у нас на Пронырке, сам говоришь, что ни день, то курорты. На хрена нам с тобой ихние города, када щавельник по буграм повылазит, грибы-ягоды поведутся? Давай-кась еще по маленькой, — хозяин плеснул в стопки, пододвинул Палычу миску с рыжиками. — Закуси, закуси, дружище, а то она у меня забористая, не приведи Господь... Если по правде, очень я рад, что ты к Сергевне своей и ко мне возвернулся.

Палыч на эту Алексеичеву радость решил промолчать.

— А давай-ка в подкидного? — из ящика стола Микола вынул замуколенную колоду. — Ты ж меня в прошлый раз с погонами оставил! Не-е! Так дело не пойдет! Какой счет? Я тебе уже, кажись, ведер шесть боровиков и три ведра поплавушек должон? Желаю до Пасхи отыграться! Чую, мухлюешь ты, Митька, водишь меня за нос! Погодь, погодь! Вот я догляжусь. — И Алексеич напялил на нос очки, поправил за правым ухом прилаженную вместо отломки резинку, поплевал на пальцы и с азартом принялся банковать.

— Ну-ну! Попытка — не пытка, — укладывая веером карты и отворачивая их от Миколиных глаз, хихикал Дмитрий Палыч.

Только часам к двум ночи, когда давным-давно закончилась топля, а поллитровка — и того раньше, когда Алексеич продулся в несчетный раз, он, довольный тем, что опять угодил гостю, отправил на печку Палыча. Потом, закрыв вьюшку и расставив на загнетке для просушки две пары валенок, поднялся на верхи и сам.

Но до-олго еще, почитай, до самой заутрени, слушала сквозь зимний дремучий сон старая Миколина хата то затихающий, то снова проявляющийся шепот двух полуношников, двух загадыхных друзей.

## II

Давно бы пора осветлиться, но на дворе все еще не смиряется метелища, даже не верится, что нынче Светлый праздник, Николин день.

Раньше-то, по обыкновению, со всей округи съезжались в Престолдень к Миколу родичи. Бывало, нагрянут дня за два загодя, разъедутся же, как очухаются от гулянки.

Стекутся! И уложить-то некуда. Настелет Петровна в горнице прямо на полу домотканых постилок, так рядом вповалку гости и ночуют. Гостиенята дрыхнут на печке да на койках.

С тех пор как не стало Петровны, Алексеич заколотил осиротевшую горницу и больше в нее не заглядывал. Обосновавшись в кухне, перестал топить на другой половине грубку. И без того не шибко жаркая, горница простыла напрочь. Промерзли до донного доньшка со всякой бабской всячиной Петровнины сундуки, дочке ситцевое это добро не надобно, а Алексеичу — и подавно; на рушниках, обрамлявших карточки, морозно выбелились когда-то веселые, цветастые букеты. И только покрытый

шоколадочной фольгой самодельный оклад на простеночного письма иконе, озаряя, как и в былые времена, лик Николы Чудотворца, не гас ни в какую непогоду — не след горницу без пригляду оставлять.

Метель разгулялась не на шутку. Единственное кухонное окошко, выходящее в палисадник, ослепло вовсе. Низкая комнатка настолько скукожилась от замуровавших ее снегов, что, казалось, одному Алексеичу еще куда ни шло, двум же мужикам и развернуться-то негде.

Хоть и мала кухонька, но так уж заведено было еще Петровной: все в ней к месту. И длинный выскобленный-перевыскобленный деревянный стол, и прикрытые тканями полавочниками резные лавки, и под окном табуретка со взгромоздившимся на нее, упершимся в потолок, лопоухим фикусом. Супротив окна — печка, при ней, как водится, ухваты-кочережки, чугунки да кринки.

Может, оттого что помнила Миколина кухонька, как весело когда-то в это праздничное утро пылала ее печка, как дышала она, не могла надышаться ароматами пирогов да плюшек, как шумно и голосисто гудела гостями за раздвинутыми дверными занавесками горница, нынче, в эту распропащую пропасть, в это опустошение казалось в ней несказанно неуютно.

Поутру перво-наперво, пододев Петровнину вязаную кофту, а поверх — ватную безрукавку, обувшись в просушенные на загнетке валенки, по стародавней привычке Алексеич усаживается на лавку под фикус перекурить.

От его ли скрипучего кашля, на запах ли забористой махорки полусползает с верхов и усаживается на телятнике заспанный Палыч. Предупредительный хозяин протягивает гостю свежую сигарку. Из-под щелястой, слаженной на скорую руку и занавешенной суконным одеялом горничной двери ползут сквозняки, слышно, как там, за этим клетчатым одеялом, время от времени трещат и при сильных порывах ветра принимаются хлопать о стену оторванные клочья обоев. Если особо не прислушиваться, то почудится, будто в горнице кто-то разговаривает, ходит по скрипучим половицам, а то и вовсе неразборчиво, словно полупьяный, напевает себе под нос.

Ветер, унося последнее тепло из кухоньки, на все лады завывает в трубе. Старики раздумчиво курят. Алексеич устал со вчерашнего вечера напрягать слух, все-то ему бластитесь в законном гуле надрывный рев прибывающего сквозь пургу ЗИЛка. Все глаза проглядел.

— Будет тебе! Ну, сам посуди, какие нынче дороги? — урезонивает, встревает в его мысли Палыч. — Поуляжется, там, глядишь, и объявится твой Витька, ай у него сердца нет?

— Может, и нет... коли с Успенья глаз не кажет... Был бы важен для него отец, нашел бы пути, а теперь напридумывает сорок оправданий... Э-эх! Надо было хворостиной почаще лупить, а я все мягкосердствовал — последышек, — не сдерживается из упрямства Алексеич. Но спустя минуту снова обращается в слух: — Погоди-ка! Кажись, супротив Сазонихиной усадьбы буксует?.. Витька! Акромя его и быть некому!

Микола особо не любит выворачивать душу наизнанку, рассказывать о своих мытарствах и тяготах, даже закадычному другу Митрию. Не постариковски швидко сдерживает с гвоздя тулуп, накидывает его на плечи и шмурыгает на крыльцо, но вскорости возвращается.

— Не видать... А завируха, завируха-а!

— Не век же ей гулеванить? Подождет хвост, белобрысая, к полудню Витька и явится. Давай на спор! Мой перочинный ножик супротив твоей ведерной плетушки? По рукам? У тебя корзин-то все одно — тьма тьмущая, а у меня подбились, летом в лес разу будет не с чем смотаться.

Палычу несказанно жалко друга. Вот ведь сколько уже лет Микола сиротствует, должен бы и попривыкнуть. Видно, отчаянье все глубже и глубже пробирается в его изболевшуюся душу. А в такие дни, когда «окончательно переадаются все жданки», видно, особенно захолынивает у Лексеича душа, горшей горького ощущается никчемность и заброшенность его усадьбы.

На Успенье, провозжая сына домой в район, Микола подал ему завернутую в тряпицу, собранную с последнего Витькиного приезда пенсию: мол, надумаешь в Ракитенку следующий раз, прихвати сахарцу, соли, мучки, каких-нито макарон-круп. Остальное заberi себе, чай, не лишние будут, внукам одежи-обувки купишь, может, себе чего приглядишь.

И сейчас запасы у Лексеича подыстожились. Чтобы не ударить в грязь лицом перед Палычем, он выставил последнее, прибереженное к празднику. С голоду, конечно, он не помрет, мужик бывалый, и не такое повидал, но коли Витька не объявится, придется тянуть на картохах.

— Живы будем — не помрем! — заканчивает своей любимой присказкой раздумья Лексеич, но с души не отлегает, щемит, волнуется что-то у него внутри и не позволяет успокоиться. Микола знает давно испытанный способ хоть как-то забыться от тяжелых дум — придавливает о загнетку окурков и принимается шебаршиться у печки. Пора растапливать, уж и дух холодный, рот откроешь — пар клубами вдоль кухни так и плывет, так и плывет. И по ногам холод — ишь ты! — за мое почтение гуляет!

Дров в сенцах — с гулькин нос. Делать нечего! Прихватив хоботную плетушку, старики снаряжаются за топлей.

По двору крутит и, вздымая сугробы, хлещет ивовыми космами завируха. Ветер свистит и рвет солому с крыши амбара. Кругом жуткая белесая муть. До поленицы, что добротной горькой притулилась под навесом замшелого сараюшки, не пробиться, а потому, чертыхаясь и кляня не смиряющуюся непогоду, старики вооружаются лопатами. И, сменяя друг дружку, раскидывая снега, тянут от крыльца к сараю проход.

Думки, одна другой муторней, вихряются в Лексеичевой голове... Был бы жив Григорий, глядишь, не мыкался бы он сейчас на хуторе в одиночку... Возвернулся бы сын со службы, обженился бы, как водится. Хату б новую поставили. Детишки бы пошли. И он, Лексеич, как испоконь бывало, при сыне-то, при внучонках коротал бы свои остатние лета... Маришка-то, сколько?.. Да, почитай, годков пять замуж не выходила... перебалывала... все не верилось ей, сердешной, что Гришка сгиб... Вить, как не крути, а и Лексеич в гробу сынка не видал... Мол, без вести пропал... Как так — без вести? В наши-то дни — и незнамо как и куда канул человек! Да разве правды тепер добыешься?.. Может, потому и Петровна так рано ушла... Со страхом смотрел Микола на жену, а ничего поделатъ не мог, самому хоть в моток прыгай. Года два выла, каталась она по полу... А однажды средь ночи, видать, напрочь вызнобило горе сердечушко ее болезное — оно взяло да и запнулось... Отдала Богу душу сердечная.

— Катерина вот тоже... — вспомнил Микола о средненькой, своей любимице, — так и не выбралась нынче летом в Ракитенку. Ну да ничего



не попишешь, простиительно... Юляшка на юриста поступает. А я что ж? Супротив? Пушай себе учится... молодому жить... Как матери не помочь дитю на ноги встать?.. Не-е!

Кабы не метелюга эта страшенная, — завыгораживал он Палычу, перекрывая ветер, и Витьку, — все ж таки малой бы прикатил. Голову положу на пень, в какой другой день, может, я и засумлевался, но нынче, как пить дать, Витька объявился бы.

А у Палыча своих раздумок невпроворот. Может, дал он маху, когда после смерти жены съехал из своей двушки? Только уж так ему было непереносимо, так нестерпимо, так нестерпимо, хоть волком вой, в квартире, где каждая чашка на кухне, каждая геранька на подоконнике говорили о ней, о Зинаиде. Так чему ж удивляться? Пятьдесят три годочка бок о бок — это вам не фунт изюма. Вот и махнул он в одночасье от тоски-печали на отчину... Ну и ладно!.. Зато сыну помог. Сколько бы он еще в однушке перебедовывал? Можно было бы, конечно, и вместе пожить. Только баба ему попала-ась!.. Не рассказать словами! Угораздит же! Язык у снохи — бритва бритвой. Сколько Зинаида из-за нее слез пролила, и не передать!.. А теперь пусть себе живут... Может, хоть иногда вспомнят отца добрым словом. Разменялись уж... в трешке-то куда как ловчее. Обид на них я не держу... К чему ими засорять свою память?.. Была бы еще одна квартира, отдал бы и ту.

— О Сергевне вот тоже душа щемит... — вздохнулось, не стерпелось Палычу. — Жалко бабу... льнет ко мне от одиночества... по старой памяти... Дак когда то было? По юной молодости... А какой я нынче мужик?.. Так — кобель старый... И пенять-то не на кого... Еще бы тогда, сразу после Зининой смерти, объявиться... А теперь что же?.. Рази ж отогреть кого таковской замерзлой душой? Впору самому — тулуп, валенки да на пещерские горы. Да, много наделал я за жисть ошибок, кабы заново-то...

Вить не врешь ты, Микола: девкой Маринка... это теперь она Сергевна, а тогда — помнишь? — иначе, как Маришка, Мариночка, ее я и не кликал... Уж какая раскрасавица была! Ну, дак недаром же говорят, мол, коли папка с мамкой из разных народностей — детишки случаются на загляденье... Тоже вот судьбинушка! В материнской утробе попасть в лагерь, там же, на северах, в лагерной больничке появиться на свет и вместе с разнесчастной теткой Полей, матерью своей, отсидеть аж четыре с половиной года...

День, когда они возвратились, как сейчас помню: под вечер возвращался с удочками с Проньрки. На лозинке пару рыбешек болтаются, смотрю: бабы у колодца ведра-коромысла побросали, стрекочут, гуртуются. И мамка моя тут же. Я, ясное дело, подошел. Вижу: перегородили они дорогу какой-то закутанной в отрепья бабе, настолько худой да черной, что не распознать в ней веселую, бойкую девку Полинку Михайлову. Ту, что осенью сорок второго вместе с другими нашими молодыми бабами да девками фрицы угнали на работы в Германию... Стоит, значит, она, а бабы ей по глазам, по глазам: «Подстилка фашистская! Сучка германская!» Полинка-то даже и не сопротивляется, склонила голову на грудь, на обутку свою драную уставилась, только все ближе прижимает к себе ребенка. Вот-вот, думаю, сорвутся бабы, до смерти забудут коромыслами разнесчастную. Но, припозднившись, шла со школы Клавдия Корнеевна. Учителей, ты же помнишь, Микола, в былые годы завсегда на деревне уважали. Отбила она кое-как у баб Полинку, препроводила до михайловской хаты...

— Дак и баб тожить можно понять. Мыслимо ли дело — ушли на войну сто двенадцать нашенских мужиков, а возвернулось всего ничего — двадцать три. И те — кто без руки, кто без ноги, а уж сколько железа в себе в Ракитенку с фронта принесли! Можно было с того железа у школы памятник поставить... Ребятишкам за-ради памяти.

— И опять ты прав, Микола. Память нужна... как без памяти? Вить вон чего по радио-то болтают: на Украине всяких бандер за героев на государственном уровне стали почитать!.. Где это видано? Да встань сейчас мой отец, как бы ему об том осмелиться сказать?!

— А я тебе припомню другой, дю-ю-жа важный случай в Марининой судьбе... после которого мно-огим нашим стыдно было ей в глаза смотреть. Да-а, не просто жилось им с матерью на деревне. Нет-нет да плюнут вослед, нет-нет да прибежит в слезах с улицы девчужка, мол, соседские ребятишки германской выбл...кой дразнят... А где-то в году так восемьдесят пятом — тебя уже в Лужках не было — объявился у нас американец. Объявился и объявился, значит... И все про Полинку Михайлову расспрашивал. Сначала, как узнал, что от туберкулеза вскорости после возвращения из лагеря померла, конечно, сходил к ней на погост. А потом целную неделю жил у Маринки. Оказалось-то, отец он ей кровный... Все в какой-то Канектут сманывал. Где тата Америка, и где лужковская доярка Марина Михайлова?.. Правда, не скажу худо-го, до самой смерти слал ей отец письма и посылки. Вот ведь какую загогулину выкинула судьба! И виделась-то Полинка с молоденьким американским офицериком всего ничего. Любо-ов! Это ж такая штука, тебе скажу!.. Только от всамделишной, нешутошной любви такие вот красавицы, как Марина, и рождаются.

— Показывала мне Сергевна и письма его, и фотокарточки... бывает же — дочка, вылитая отец, кровинка к кровинке! — подытожил Палыч, словно поставил последнюю точку в сомнительном происхождении его Сергевны.

Наконец-таки доскреблись до поленницы. Сдвинув с нее крутой снеговой козырек, надергали полешек, набили ими громадную, слаженную когда-то для соломы плетушку и волоком-волоком дотащили добыток до крыльца. Потом уж охапками переносили топлю к печи.

— Вот это я понимаю! Вот это по-нашему закрутило! — выглядывая из-под запорошенных бровей и похлопывая рукавицей об рукавицу, бодрился Лексеич. — А то в последние годы и зима вроде как не зима. Когда это видано, чтоб, к примеру, на Роштво дождь будто из ведра?

— Зина, бывало, моя скажет, — вторил ему, пританцовывая валенками, Палыч, — долетались! Всю поднебесную пробуравили, перемешали, какого ж теперь порядка дожидаться? Зимой — дождь проливенный, летом — до заморозков.

А когда из Лексеичевой трубы закурилось, потянуло на всю сгинувшую Ракитенку жилым духом, сосновыми да березовыми смолами, маломальски обогревшись и разоблачившись до тужурок, старики расположились обочь печки, снова завернули сигарки.

— Да-а, — продолжил о погодах Палыч, — а помнишь, Миколай, какие жуткие морозяки жали, когда мы под немцем бедовали?

— Как не помнить? — положив руки на стол и склонив на них голову, отвечает Лексеич. — В сорок первом, в середине декабря, мамку хоро-

нить — дед Степан сутки костер на погосте палил, земля — железозем, могилку никакими силами не выдолбить... А снега навалило в ту зиму — ни проехать, ни пройти... Да что тебе рассказывать? Ить и твою матушку те смертные тяготы не обошли, всех нашенских баб коснулись... Бывало, нагрянет Филька чуть забрезжит, прикладом в двери: «На расчистку!..» Одежда-обутка пло-охоньякая! На большаке — ветродуй. Бабы, как проклятые, до позднего часу чистят снега. Немчуре, продам, не жалко, хочь стужа, хочь мороз с каляными гвоздями: «Arbeiten!»

— Как же? — подался в воспоминания и Палыч. — И старшую сестру Раиску, и матушку гоняли фрицы на тот большак. А мамка-то... в чем душа держалась... Два старших брата как раз сгибли у нее по ту пору: один где-то под Тихвином, другой канул тоже в мясорубке под Москвой... От отца — ни слуху, ни духу, одно знали: бьет фашиста, а где?.. Я — соплюган соплюганом... и Катеринка — от горшка два вершка. Уйдут, бывало, мои на работы, на меня ее оставят. Хочь и лютость на дворе незнамо какая, я Катьку веревкой к телятнику привяжу, онуч поболе на ноги накручу — какие там валенки, откуда их взять? — и айда на речку!.. Дак что тебе сказывать, тамотка с тобой и сговорились немчурю пожечь. Ты уж прости, друг сердешнай, подбил я тебя тогда, считай, на смертную погибель.

— Что теперь об том толковать? — похлопал Алексеич Палыча по плечу. — Я ж тебе еще тогда сказал: «Живы будем — не помрем!» Давай-ка поутречаем, разговорами сыт не будешь. Вон и картохи упредли. Как никак, нынче Престол. Надо бы и «причаститься».

— Ты прямо спозаранку! — засомневался Палыч.

— Дак лови момент! — хихикнул Алексеич. — Ты когда теперь явишься-то? А мне одному как-то не с руки прикладываться — душа в одиночку не принимает.

Хозяин вышел в сенцы и скорехонько — дух от холода перехватывает — вернулся с миской холодца. Квашеная капуста, огурчики. Что в деревне по то время? Да и что особо старикам надобно? Вот потолковать «об жисти» — это да!

— Коли б не учителька — Царствие ей Небесное! — Клавдия Корнеевна... — разливая по стопкам подаренный другом коньяк, заметил Алексеич. — Уж не сомневайся, как пить дать, стрельнули б нас тогда, Митька, фрицы, и в затылке б, размышляя, не почесали...

### III

А дело было так.

Испокон веку Никола Зимний в этих краях суров и лих. А в декабре сорок первого, как нарочно, мало того, что деревня сгорбилась под германцем, ахнула вдруг особо неслыханная стужища. Лупили несусветные морозы, колочие ветра подымали на улицах растакаую куролесь, что немчура за порог не высовывалась, разве что какой очумевший от самогона полицай прошныркнет от избы к избе в поисках горячительного. К ночи же Ракитенка и вовсе вымирала — ни собачьего бреха, ни самого малого огонечка в избах. Лишь в самом центре, в бывшем барском доме, когда-то окруженном громадным плодовым садом, пугая темень, лупастили высоченные окна. С осени сорок первого здесь расквартировались немцы.

В году тридцать втором, когда след господ Ильинских канул где-то в Европах, в просторной их усадьбе сначала обустроилась коммуна,

а чуть позже, когда из нее сгуртовался колохоз «Светлый путь», под одной крышей втиснули бок о бок клуб, избу-читальню и школу-семилетку, в которую поутру стекалась детвора со всех окрестных деревушек. В одном из классов этой школы еще в сороковом на последнем столе проявилась процарапанная гвоздем мальчишечья клятва: «Колька и Митька — друзья до гроба!» Клавдия Корнеевна, конечно, потрепала их за ту процарапку за уши, не без того. Но выговор тот, как оказалось, только скрепил их дружбу. На вечные веки остались ребята не разлей вода.

Так вот. Еще летом тридцатого верховодивший комбедом Кузьма Овсянников, бывший путиловец, знавший грамоту, накинув на барскую библиотеку амбарный замок, не позволил ушлым мужикам растащить на самокрутки редкостные книжки. И потом, став председателем, до самой войны держал он оборону от начальства, не соглашаясь передать ильинскую библиотеку в райцентр. Сам читал взахлеб до свету и чуть ли не насильно подверг ракитенцев от малой мальвы до старых стариков обучению грамоте.

На первом году войны, почитай, сразу же после Покровá напрочь перемело все пути-дороги на подступах к Ракитенке. К Николе же стены огромного ильинского дома настолько простыли, что в углах необжитых немцами комнат засеребрился иней. Поленицы топли, громоздившиеся в полуразваленном приусадебном амбаре, с неделю как подъелись, а о том, чтобы выбраться за дровами в лес, нечего было и думать: сразу за околицей лошади, как бы ни матюгались, ни секли кнутами их полицаи, отказывались идти, ухали по брюхо в рыхлые, непролазные снега.

В тот день командир третьего пехотного полка оберштурмбанфюрер Зиммель в наглухо застегнутом кителе стоял у окна в жарко натопленной, пропахшей яблоневым деревом комнате, когда-то барской столовой, а в недавнем прошлом — учительской Ракитенской семилетки. Через приоткрытую форточку сквозь свист нарастающей поземки доносилось взвизгивание пилы, лязг топоров о звонкую промерзлую древесину: четверо солдат на обогрев, по приказу оберштурмбанфюрера, под корень изводили старинный ильинский сад.

Уроженец Вюртемберга, расположенного на юге Германии, барон Карл Зиммель панически боялся русских морозов, и потому адъютант его Шмутке то и дело таскал с улицы охапки поленьев, порой с остатками извести (ракитенская детвора под приглядом учительницы Кладии Корнеевны Федушиной обычно к Первомаю, устроив субботник, белила пришкольные деревья).

Зиммеля знобило, шнапс не согревал — вот уже два дня он перечитывал и перечитывал полученную с вестовым почту, разговаривал сам с собой.

— Русские ожесточенно бьются за самый малый клочок земли. Это надо подумать: и зима им не зима! Наше победоносное наступление захлебнулось! Мало того, двадцатого декабря противник продолжал наступление в районе Среднего Дона — видит Бог, русских ничем уже не сдержать, и правда, этот народ долго запрягает, зато потом лихо мчит! Мы и глазом не успели моргнуть, а только за последние несколько дней отбито более ста населенных пунктов.

Зиммель покрутил ручку приемника, настроил на Москву.

— Уж лучше бы не слышать!.. Ликуют, рады-радехоньки: количество

попавших в плен увеличились на три с половиной тысячи... Куда ж еще! И так неделю назад захватили тринадцать с половиной тысяч... это не считая, что Вермахт только за двадцатое число оставил на поле боя, в русских сугробах, свыше восьми тысяч трупов.

По приказу Зиммеля в комнату натащили из библиотеки книг. Пушкин, Толстой, Достоевский, Горький, Шолохов... Барон, зная всего лишь несколько обиходных русских слов, листал книгу за книгой, словно пытался отыскать в этих совершенно непонятных для него завитушках и крючках ответ на не дающий покоя вопрос: в чем же — черт побери! — сила духа этого народа, сумевшего не покориться такой небывалой машине?

— Ну почему, почему фюрер не прислушался к пророчеству Бисмарка? А ведь канцлер словно чувствовал, чем может закончиться любое посягательство на эту не разгадываемую даже арийским разумом страну, говорил же он в свое время: «Я знаю тысячи способов выгнать медведя из берлоги, но не знаю ни одного, чтобы вернуть его в берлогу обратно... Завещаю: не трогайте Россию!»

— Als ich damit machen?<sup>1</sup> — к большому удивлению барона, адъютант, обескураженный находкой, притащил и свалил в общую кучу тома его сородичей.

Зиммель принадлежал к высшему сословию, мало того, в свое время юный барон получил блестящее образование в Гейдельбергском университете, одном из старейших в Германии. Излюбленным местом в студенческую пору для него была университетская библиотека, насчитывавшая необъятное количество книг. И немудрено! Со дня ее основания в 1386 году прошли века! Именно здесь, как тогда казалось Зиммелю, он мог отыскать ответы на любые вопросы. Правда, обучение на факультете культуроведения не помешало ему вскоре после прихода к власти нацистов вступить в Национал-социалистический союз студентов Германии. Гейдельбергский университет тогда оказался первым высшим учебным заведением, которое приветствовало приход гитлеровцев, даже посвящение на его здании «Духу живущему» изменили на «Духу немецкому». Зиммель в студенческом союзе слыл не последней сошкой. Именно он предложил тогда молодым нацистам обратиться к своему знакомому, двадцатидевятилетнему берлинскому библиотекарю, тоже члену НСДАП, Вольфгангу Херману, с просьбой составить «черные» списки книг, «подрывающих немецкий дух». Всего в список вошли триста тринадцать авторов.

От того, что произошло потом, содрогнулся мир — произведения Фридриха Шиллера, Генриха и Томаса Манна, Стефана Цвейга и Августа Бебеля, Йоганнеса Бехера и Лиона Фейхтвангера заполоыхали по всей Германии.

И вот сейчас в этой дикой, промерзлой стране, в захудалом русском селище (не верилось глазам!) барон держит в руках изданные в России, но под смертным страхом запрещенные в Германии книги его соотечественников!

Зиммель раскрыл томик Гейне. Он сразу узнал эту иллюстрацию — его любимый художник Освальд Ахенбах... Легенда о Лорелее... Сами собой, словно и не побывали в фашистском кострище, не выгорели, зашептались строки, врезавшиеся в память с детских лет:

<sup>1</sup> — Как прикажете поступить с этим?

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,  
Daß ich so traurig bin,  
Ein Märchen aus uralten Zeiten,  
Das kommt mir nicht aus dem Sinn <sup>2</sup>.

Углубиться в запретные воспоминания Зиммелю помешал шум шагов за дверью. Резким движением он отшвырнул книгу на пол, к полыхавшей группке, и принялся брезгливо вытирать руки носовым платком. В этот момент, постучав и, не дождавшись пригласительного «Herein!»<sup>3</sup>, в комнату вкатился тучный, шаровидный Отто Бруннель, его заместитель.

Они сблизились еще под Брестом, в самые первые дни русской компании. Зиммель многое прощал своему подчиненному, а по совместительству закадычному другу Бруннелю. Тот же, пользуясь расположением командира, время от времени мог позволять себе небольшие вольности, которые не простились бы педантичным Зиммелем кому-нибудь иному.

Что их объединяло, не ведал никто. Военная карьера барона Зиммеля выстраивалась, казалось, сама по себе, без его малейшего участия. Такому, как он, обычно невозможно было не завидовать, сослуживцы так и называли его «везунчик».

Бруннелю же, выходящу «из плебеев», как он любил, юродствуя, подчеркнуть, с невероятными усилиями приходилось продвигаться от чина к чину. Дружбой с Зиммелем он очень дорожил. Знакомство с бароном и его опека свалилась на капитана Бруннеля, как снег на голову, правда, чуток поразмыслив, он пришел к непоколебимому выводу: такое отношение к себе, в конце концов, он просто-напросто заслужил годами собачьей преданности фюреру и его партии. Какова была связь между дружбой с Зиммелем и служением наци, он и сам не знал. Но что-то же их удерживало подле друг друга! Особенно сейчас, в этой жуткой промерзлой стране.

Ни Микола, ни Митька не ведали их судеб, откуда им было знать и то, что в Германии у каждого уже по паре детишек. Не интересовало ребят, какими путями пришли они в их родную деревню. Они были уверены только в одном: это — лютые враги, и если друзьям повезет, они смогут этих врагов уничтожить. Может, тогда утром мамки не выйдут промерзая до косточек на большак, не станут расчищать дорогу для продвижения на восток немецкой техники, а значит, не станут гибнуть ушедшие на фронт ракитенские мужики.

До полуночи офицеры пили, не брезгуя, забористый русский самогон, орали песни. Бруннель виртуозно играл на своей губной гармошке, известной во всем полку, которой он по каким-то, одному ему ведомым причинам особенно дорожил.

И уже к утру, когда, давным-давно отяжелев от выпивки, оба угомонились, когда уснула — не уснула, но задвинула двери поплотнее на щеколды, затаилась в ожидании нового беспросветного дня Ракитенка, часам к четырем полыхнуло старое барское имение. Это было настолько неожиданно и дерзко, что поместье отстоять у огня не смогли, выгорело подчистую, дотла.

<sup>2</sup> — Не знаю, что стало со мною,  
Печалью душа смущена.  
Мне все не дает покою  
Старинная сказка одна.

<sup>3</sup> «Войдите!»

Может, и пронесло бы, может, подумалось бы немчуре, что случайно, обронив сигарету, пьяные офицеры сами себя и спалили... Но однажды — дело уже двигалось к весне — по случайной случайности проезжая мимо заброшенного омета, полицай Грязнов услышал звуки той самой губной гармошки. Мало того! На немецкой губной гармонии кто-то лихо наигрывал «Три танкиста».

Полицай от неожиданности и невозможности услышанного даже замер, словно в столбняке. По своей сущности Курощуп Грязнов — все-то бегал по избам, яйца для немцев собирал — был из трусов трус, а потому один, конечно, к омету не полез. Но выслужаться перед немецкими властями ох как хотелось! На другой день немцы и полицай перетряхнули в поисках бруннельской гармошки все окрестные деревушки.

Наверно, как только вылез из пеленок, замечтал Миколка о гармонии. Ливенки по ту пору хоть и не редки были в Ракитенке, в Миколиной хате не водились. Большое семейство еле сводило концы с концами, не до «гулюшки». И играть Миколку никто не обучал. Бывало, пока передыхает гармонист Сенька Рохлин на корогоде, тут ему на смену и усаживается мужичок с ноготок. Да еще как «жарит»! Девки дробили, смену гармониста и замечать не замечали.

— Струмент не виноват, что хрицу достался, — оправдываясь, растолковывал на другой день после поджога Миколка своему товарищу.

Ночью-то поначалу, отворив тишком учителькин сарай, что стоял недалеко от имения, ребята, ныряя в разбитое окно библиотеки, таскали в него охажки книг, засыпали их соломой. Спасали, не разбирая авторов — русские ли, немецкие. Мальчишки, еще не умевшие путем читать, еще не разбиравшиеся в ценности Ильинской библиотеки, прятали книги, о которые так боялся запачкаться высокообразованный барон Карл Зиммель.

По правде сказать, Митька даже и не заметил, когда Миколка успел разыскать и выхватить из полымя «хрицкую гармонию». Ведь, плеснув на все углы керосинцу, чиркнув серниками, они заулепетывали в разные стороны: Миколка на свой двор, на другой край Ракитенки, а Минька — котушкой-котушкой — под горку, с которой днем гоняли они на обмазанных навозом, заледенелых плетушках, потом через переметенную — не заскочить бы в польню! — Пронырку да в Малые Лужки, на печку к деду.

А по заре, сговорившись загодя, прибежали к Клавдии Корнеевне. Так, мол, и так: надо бы книжки переховать. А зачем их прятать? У учительки это добро завсегда водилось.

Ворота — на запор. Перетасчили Ильинскую библиотеку, вернее, то, что от нее осталось после германцев, в хату, распахали по этажеркам, шкафам да чуланам — и бегом по домам, будто знать ни о чем не знают, ведать не ведают.

Ох, и отчаянные росли Миколка с Митькой! Да и не только они. Время было такое. Рано взрослела тогда детвора.

#### IV

— Видать, и правду, не явится... Что есть отец, что нету — ему и бай дужи, больно нужен! — поежившись, опускает голову Лексеич.

— Ну что ты, Микола, в сам деле! — Лексеичево талдыченье начинает Палычу надоедать. — Со двора сдувает, а в поле? Рази ж шутка? Ажни мурашки по спине бегают, как представляю, что на проселке делается!

— Ты-то вот не запужался?

— Ну-у! — перечит Палыч другу, — то ж я! Меня и искать-то теперь некому... А у Витьки ребятенки малые. Еще подымать да подымать... Угомонись ты, Микола! Сам знаешь... одним словом — пурга, свету Божьего не распознать!.. Такие погоды стояли разве что в пятьдесят первом... Или мне тогда от страха, от горя показалось? Помню: увозят мамку... а я бегу за санями... ревмя реву... снегу — по поясу... топну, падаю... подымаюсь и снова бегу... обессилел... пополз за ней, горемышной, вслед... Да рази ж угонишься? Вот скажи ты мне, Микола, как ты мыслишь, есть ли после того правда на свете? И где она ховалась, когда человеку за двенадцать копеек недостачи вкрутили десятку?

— Что теперь, Мить, ворошить-то? Разобрались ведь. Скостили же...

— Ни-че-го себе, разобрался! А пять годочков бабе ни за что ни про что на лесоповале — это, значит, не в счет? А мне за ее судимость на ученые дорожку перекрыли — тоже не в счет? За одной партой штаны протирали, кому как не тебе знать, как я школу закончил. Помнишь, как Клавдия Корнеевна — мол, головушка у тебя самая светлая в классе — уговаривала в институт? Хоть рабочие руки в семье никогда не лишние, ни мать, ни отец тогда не запротивились... понимали. Поехал... И что? От ворот поворот! Вот и отстоял за токарным станком без малого сорок годочков!

— Ну, дак все ж таки пять!.. А Маруся Кленкина вон все до денышка оттерпужила, — пытаюсь смягчить извечную Палычеву горечь, как бы между прочим роняет Лексеич.

— Та вить заведующей была... А матушка — рядовой продавец... И Марусю жалко, как не жалко-то? Да и то верно, что теперь бередить? Кабы не батя!.. Мамка Галинку тогда грудью кормила, девять месяцев девчонке было. Но батя справился. Недаром в разведке до Берлина дополз. Правда, особо о войне говорить не говорил. Что, мол, об ней расскажешь? Идем за линию фронта трое-четверо... повезет, если вернется один...

— Геройский был у тебя батя! Попрекнуть нечем! Идет, бывало, по деревне в праздник — на груди пустого места нету, вся в медалях да орденах!

— Да-а, перепало батьке, врагу не пожелаешь... И малую выходил, и с бабами не путался, к слову сказать, ты же помнишь, казак-то он был — любо-дорого поглядеть, у них в роду, в Воронеже, все такие, саженные... Это я — недоростух, войной пришибленный... да и ты не шибко ростом от меня ушел... Любил, по всему видать, батя мамку-то. На чужих баб глаза не косил, про род наш говорили так: все подчистую однолюбы. Из-за мамки батя и в Лужки по молодости переехал, и, опять же, с лагерей дождался... Вон чего пережили! А ты заладил: «Метель, метель!» Главное — жив-здоров твой Витька, и ты пока что землю топчешь, значит, встретитесь, погоди, дай срок, прикатит сынок... к кому ж ему еще приклониться? Матери кой год как нету, один ты у него разъединый и остался.

— Оно конечно, — все же поддается уговорам Лексеич. — Супротив непогоди не поперешь, — и тут же снова вскакивает, — стой-ка, погоди! Вроде как двери в сенцах хлопнули, — схватывает тулуп и опрометью вон. В скором времени молчком, без присказок, пропуская перед собой Песика, возвращается.

Переступив порог, обрадованная хозяйской заботе собака перво-наперво отряхивается, пытаюсь освободиться от одолевшего ее снега и лизнув в благодарность за приют Лексеичевы руки, не спеша, с достоинством проходит к печке, ложится, прижавшись спиной к ее спасительному боку.



— Ишь ты! И правда, из благородных! — отмечает воспитанное поведение Песика Палыч.

— Что есть, то есть, — кричит Лексеич, лезет в подпечье за старой посудиною, выделяет собаке со стола картох, хлеба, прислащивает обобранными холодечными косточками. — Хоть бы заскулил, пожалобился — нетушки: свернулся клубочком на крыльце и тишком судьбину свою песью пережевывает. Не выйди я, к утру бы — сугроб сугробом... Вечерась, как покормил, с привязи снял — пушай, думаю, себе бегаёт, греется. Понадеялся: на задах в старую гречишную копну зароется... А он, вишь ты! Ко мне поближе... Тревожно ему, сталбыть, что я в такую непогодь одиночничаю... Навязался я на его шею.

— Да! Такого пса с огнем ищи — не сыщешь! — говорит Палыч и, замечая, как тает от его слов Миколина душа и (что бывает в последние годы в редкую-редкую стежку) как светятся радостью глаза друга, прибавляет: — По всему видать, сам Господь его к тебе спровадил.

— Ну, когда так, — оживает и даже начинает хорохориться Лексеич, снимая со шкафа накрытую вышитой салфеткой гармонь. — Раз таковское дело, коли нынче и правда праздник, сам Миколай Угодничек велел не вешать нос!

— Вот это другое дело, — потирает руки Палыч, — а где там наша трофейная?

Из пристольного ящика извлекается «хрицкая гармония», Микола пробегается для разминки вверх-вниз по кнопкам ливенки.

— Нашу, что ли? — тербит он бороду, улыбаясь другу, и, не дождавсь ответа, разворачивает меха.

Вьюга, прильнув к оконцу, примолкает, прислушивается: кто это в таком гиблом месте смеет ей перечить.

— *На границе тучи ходят хмуры!* — с припомнившейся былой удачью зачинает еще тот песенник Микола.

Палыч, напрочь не способный к «гармонному делу», браво выдувает на трофейной. Он очень старается, и от этого ему кажется, что он ладит. Да это сейчас и неважно!

*Край суровый тишиной объят,*

— ведет песню Микола, —

*У высоких берегов Амура  
Часовые Родины стоят!*

Высвободив за-ради припева губы, Палыч лихо подхватывает:

*У высоких берегов Амура  
Часовые Родины стоят!*

Несусветная, мешающая быль с небылью метель. Хлесткая сечка скребет и корябает стекла. В такие погоды только гулять праздники — сидеть большим корогодом в жарко натопленной хате за широким застольем... Было... Все было!

И думы опять берут верх, опять клонят Лексеичеву голову. И он, резко оборвав одну, заводит совсем иную, по его нынешней доле, песню. Русскую, печально-задушевную.

*Ой, мороз, моро-оз!  
Не морозь меня!*

Неуклюже, но всем сердцем ему вторит Палыч.

*Моего коня-а белогривого.  
У меня-а жена-а, ох, ревнивая-а-а!..*

Напевшись досыта, старики принимаются чаевничать. В запечье сыскивается мешок с сушеными, расперившимися сосновыми шишками. Раскошегаривается преддревний, помнящий еще Миколина деда, самовар. Мурлычущего на все лады, его выставляют на серединку стола.

— Ну, какой нынче испробуем? — Микола, повозившись на кутике, вопрошает друга. — У меня травок с лета — тьма тьмущая, до смертушки пить — не перепить. Я тебе с собой в Лужки мешочек соберу. Коли подушистой пожелаешь — можно запарить шалфейник, мяту, марьяник. Таволга тоже вот, в Дальнем леске по солнечному склону насбирана. Для цвету самое то — зверобойчик. А еще донничек, в основном желтый, белого — трокси-трохи. В июне липоньки на Хмелицком подворье присобрал. Клеверу да ромашки нынче за околицей высыпало видимо-невидимо. Грех, когда такое добро в руки просится, пройти мимо, не застаться. Зимой всегда будет чем побаловаться. Да и годы наши не молодецкие — то там кольнет, то тут попримжет.

К слову сказать, к Лексеичу аж из района приезжают за всякой-разной травой. И от кого он только набрался эдакой науки? Все доподлинно знает, по какой-такой надобности Господь прорастил на Божьем свете эту, для какой пользы другую былинку. Хотя не очень-то и мудрено: матушке его, бывало, «рожу» заговорить или «криксу» с младенчика снять — дело пустяшное, самое что ни на есть распростецкое.

— Знаю-знаю твои чай-микстуры, Лексеич! Кабы не ты, уж так разгрипповался в прошлом годе, две недели, почитай, в горячке провалялся, как пить дать, концы бы откинул!

— Дак и ничего особенного в тех взварах не было, кажная баба наша, бывало, знавала: щепоть первоцвету, горсточка земляничника, пару листков черной смородины. Опять же, фиалочки меленькой не позабыть, ромашки — куда ж без нее при болевостях, липки — жар приглушить, зверобойцу, чабрецу — это уж, как водится.

— Не знаю, не знаю, чем уж ты меня лечил, только не перестаю за тебя Богу молиться — пять ден не отходил, даже фельдшерница Степановна потом дивилась твоей ворожбе.

— Ну, решайся, чего заварить-то? Али пропустить еще по маленькой? — довольный Палычевой благодарностью шебаршится в холщовых мешочках Лексеич.

— А давай-ка кипряка! Уж его-то, даже не сомневаюсь, у тебя припасено немало.

— Есть малешки. Нынче он что-то не дюже уродил. Правда, на погорелье, на месте Харитоновской хаты — молоньей годов пять как спалилась — проявилось его, разлюбого, огромная куртина. Ну, я и поусердствовал. Чего ж добру зазря пропадать?

— Говорят, мол, иван-чай, кипрейник тот-то, при царе даже в Англию поставляли. Во как! Ценнейший продукт, оказывается. Ай мы с тобой не лорды?

— Лорды — не лорды, а помещики точно! — улыбается Микола. — Как скажет моя внучка Светланка, Витькина старшенькая... собирается на учительку — все на свете знает! — так она меня «диким помещиком» окрестила. А ведь и не ошиблась! Вся Ракитенка в моем пользовании.

Сады по осени стоят — яблок неборно! Бери — не хочу! Земли — паши-запашись! Травящи — табун заводи — не поест.

— Да-а! Богатства, куда ни кинь — а только задаром никто не берет. Дожили!..

— Ладно, не причитай! Может, еще так обернется, что нам и не снилось... Ну, не верю я, Митрий, чтоб не сыскался хозяин для такой земли, не верю. Может, на нашем веку и не случится, а только не бывать тому, чтобы напрочь сгинула русская деревня! Не бывать, тебе говорю!.. Эх! Отмотать бы годков эдак сорок назад!..

За стеной знойкой метелью гудит Николин день, а от Лексеичевой печки расплывается по кухоньке тепло и ласка. «Выдув» самовар до донышка, старики подсаживаются поближе к огню. Лексеич, обметя гусиным крылышком с загнетки древесный мусор, подкидывает его в солныш — печное устье, принимается подкармливать огонь, у него своя на это привычка: укладывает, чередуя, березовые и сосновые полешки. Дух плывет по комнате какой-то особенный — если зажмуриться, почудится, будто по лесу идешь: то березой дохнет, то сосенкой. И так-то хорошо, так-то уютно становится двум изсиротившимся стариковским сердцам в этой занесенной снегами кухоньке с ее незатейливой обстановкой и такой же простецкой, по старинному укладу, утварью.

Песик, пожевав спросоная губами и воспользовавшись добрым расположением гостя, укладывает ему на колени свою простодушную морду, заглядывает в глаза. Он всегда безумно радуется появлению в Лексеичевом жилище любой завернувшей на огонек живой души. А уж как он любит хозяйского друга! По всей вероятности, он и сам набивается к Палычу в друзья-товарищи — провожает старика всегда до самой Пронырки.

В печи постреливают дровишки, Песик вскидывает уши, наострает слух. Может, вспомнились ему ненароком охотничьи вылазки его первого хозяина, ружье и пальба по лисам-зайцам?

Расположившиеся дрова вспыхивают задорными огоньками в карих вишенках Песиковых глаз, бросают отблески на вылинявшие обои, на расположенные рядком, заботливо прищипленные к ним когда-то Петровной Лексеичевы колхозные похвалы и грамоты, переблескивают на окладах божнички, на застекленных, увенчанных нахлобученными рушниками фотокарточках: посередине двойной портрет, Микола с женой Валентиной — парочкой, свадебная карточка. Это уж потом она обросла снимками детей, внучат. А на той, свадебной, они на загляденье молодые. И счастливые-е!

## V

— А вот я тебе, Митька, не рассказывал, как я свою Валушку сговорил? — подобрав последки из плетушки и отправив их в печь, улыбается Микола, а сам все смотрит, смотрит на пожелтевший за кучу лет, но от этого ставший, может быть, еще лише дорогим, свадебный портрет.

— Да как-то не случилось, ты ж у нас не дюже какой говорун, а эдакие тайны и вовсе куда поглубже закопал.

— Языком молоть, как говорится, не дрова колоть, дело-то немудреное. Ладно! Так и быть! Чего уж теперь? Петровны нет — некому и заругать, что проговорился, — машет рукой Лексеич. — Видать, и судьба у меня оттого метельная, что обженился я, если все сызначала начинать,

по самой метели... Я об том, что первый раз у меня случилось с Валентиной в такую же погоду, одним словом, метель поспособствовала моей скорой женитьбе... Это потом у нас с Валюшкой была вербовка, целина и много чего другого прочего. А в ту зиму случилось вот что.

Отслужив танкистом в Киевском военном округе три года, хотел было остаться на Украине. Хохлушечка-разведенка у меня такая голосистая в Киеве завелась! Что ни увольнительная — к ней, на борщечок да вареники... Да-а, и сама пампушечка пампушечкой, хороша-а, я тебе скажу, — без сметаны съел бы! Не-е, ты не подумай, я не из-за прикорма! Втюрился, ей-Богу, по самую некуда! Кабы не бабушка с дедом, точно бы женился. Пишут они: мол, помирять собрались, а глаза закрыть некому будет. Как такое стерпишь? Отец так с войны и не вернулся, мамка — на раки-тенском погосте, дед с бабушкой меня и поднимали. Как их под старость бросить? Протоптался я в Киеве после демобилизации лето, все уговаривал Галину с собой в Ракистенку.

— И что ж? Не уболтал? — встревает Палыч.

— Как видишь, не срослось, ни за какие коврижки не захотела она променять свой Киев на нашу деревню.

— Ну, а Валентина-то, Валентина?

— Вот всегда ты, Митька, спешишь. Лотохой был, лотохой и остался. Я ж тебе как следно, с расстановкой, что за чем шло... В общем, к ноябрьским насли на меня родные — утерпежу нет, мол, и слушать ничего не желаем: приезжай и приезжай. Переговорил я еще раз с Галиной и понял, что сбить мне ее с насиженного места не удастся. И толку все равно у нас с ней не будет — чужемужняя жена. Вспомнил, как говаривала, бывало, бабушка: мол, судьбу не проведешь, она и за печкой найдет. Прихватил свой дембельский чемоданчик — и на вокзал.

А зима случилась в том году у нас на удивленье ранняя. Еще за неделю до Покровá пали снега, подтянулись морозы. Как сейчас помню: вышел я, значит, с автостанции, начинало легонько подметать. Идти пехом дюжину верст, сам знаешь, даже в лучшие погоды — не великая радость. Кой-чего к празднику — завтра ж Октябрьские отмечать! — прикупил, одним словом, не налегке: чемодан, сумка наперевес. Еще и версты от поселка не отошел, ка-ак задует, ка-ак понесет!

Вообще-то, скажу я тебе, кому метель — погибель, а мне, почитай, родная. Не мать, конечно, но сваха — это уж точно.

— Это как же так? — дивится Палыч.

— Да коли б не она, кто знает, кому б я достался. Метель нас с Валентиной и заблудила, и окрутила, и повязала на веки вечные... Ну так вот, значит... Еще и к Фомкину ложку не спустился, поднялась такая чертовщина!.. Захочешь рассказать — не сподобишься! Прокружившись в этой куролеси часа полтора, уж и сомневаться не сомневался — заблукал! Да и не май месяц, чую: промерз до печенок. Кабы не натолкнулся на ржаной омет, не знаю, остался бы вообще в живых... Я так мыслю: Господь не зря время выбирает.

— А при чем же тут Валентина?

— При самом главном! Обошел я омет, нашукал, с какой стороны не так зверски задувает, и давай солому-то раскидывать. Поглубже ведь любому тише. Откинул охалку, другую, ка-ак завизжит кто-то в глубине, ка-ак заверещит! Я прямо оторопел. Но смекнул: «Не лешак же в омете от непогоды ховается? Хоть ему, лохматому, теперь самое разгулье... но голос-то самый что ни на есть девчачий».

— Ну? — торопит Палыч друга.

— Что «ну»? Где это видано, чтобы армейцы девчонок боялись? Размышлять долго не стал, нырнул в берложку, пошарил вокруг себя руками, мол, чего спужалась? Подвилься-ка, чай, не твой личный омет?.. Я к ней — давай, мол, знакомиться, коли судьба в такую-то пору свела, значит, думала, что делала. Пытаюсь заговорить с перепуганной девахой, а ей, вижу, не до смеха: перемерзла не на шутку — пальтишечко легонькое, ботики коротенькие. Метель, видать, под юбку насвистела, колотит ее, аж зубами камаринскую дробит. Что делать — погибнет девчонка!.. Хотя и сам зубами клацаю, а все одно — сграбастал ее в охапку, может, думаю, вдвоем как-нито отогреюся, перебедеум метель. Я, значит, к ней, а она шарахается от меня, как от чумы. И ну пихаться, ну брыкаться! Да не трону я тебя, — говорю, — сдалась больно, малявка! А Валюшке, оказывается, на другой день Успенья всего ничего — семнадцать стукнуло.

— Ишь ты! А я и забыл, что она тебя на шесть лет моложе была.

— Ну и вот. Потрепыхалась, потрепыхалась девчонка, смотрю: сомледа, уткнулось головой мне в грудь и баиньки — сопит себе в две дырочки, как у мамки на перине. Обнял ее покрепче и, боясь пошевелинуться, прокараулил Валюшкин сон до самого утра, даже не сморило. Сердце же то замирало, то колотилось, как сумасшедшее... А тронуть не посмел.

А наутро очнулась она, да как заскандалит, как заругается, как снова заотпихивается, мол, как ты смел, такой-разедакой, меня обнимать. Не такая уж сиротинка она оказалась. Бедовущая! Расхорохорилась на свету. Когда взбрыксы малешки поуняла, смеется в глаза: «Что ж ты теперь делать-то будешь, — хохочет себе до слез, — после ночи в омете просто обязан сватов заслать!»

— Ну, а ты что ж?

— Звать-то тебя для начала, говорю, как? Чтой-то не припомню, чья такая курносая? Из Лужков или из Гавриковых Двориков? А оно вишь как оказалось — нашенская, ракитенская. Уходил в армию — от горшка два вершка была. Вернулся — мать честная, как разбутонилась! И не хухры-мухры — на фельдшерку поступила. Домой к мамке на праздники добиралась. С того дня я уж и мыслить без нее не мыслил. А как восемнадцать Валюшке моей стукнуло, — гармошку в руки да быстрой свататься. А то не ровен час перехватят!.. И что самое важное, — ни разочку об том не пожалел.

В крохотной комнатке становится настолько жарко, что старики почти разногишаются: скидывают тужурки — Палыч свою, подбитую мехом, Алексеич ватную, и в одних байковых расхалилеянных рубахах орудут у печи, стряпают обед. Микола ковыряет из кастрюльки принесенный из сенцев, закаляневший что кость смалец: в прошлом годе подвезло ему вилами по случайному случаю заколоть отожравшегося в Желудь-лесе — Микола натыкался, там у них лежка — дикого подсвинка. Настолько обнаглел вожак, что повадился, как у себя в лесу, разгуливать со своим семейством на Алексеичевом подворье. Ну, Микола и подстерег. Хотя и опасная была задумка, а все ж таки Господь помог. Да и, самое главное, с той самой ночи кабаны обходят стороной его усадьбу. А быть может, навовсе покинули окрестности Ракитенки. Кто ж их, самовольных, ведает?

Палыч чистит картохи, кроит щедрыми ломтями на большую, снятую с чугуна сковородку. Поначалу-то, как ушла Зина, трудно доставалась ему эта бабская наука. Все, бывало, всухомятку да на бегу.

И вот стоял он как-то у плиты, пытался «сварганить» обед. Дело было уже после смерти жены. Помешивает он борщ, и вдруг, откуда ни возьмись, окатило: кажется, только теперь Палыч по-настоящему знал, кто он. Все, из чего выкроилась его судьба, все его победы и разочарования, все-все, что скопилось в нем, кипело и бурлило, долгие восемьдесят лет варилось в его нутре, словно в чугуне, до тех пор, покуда не выпарилась сущая сущность, то, кем он по Господнему промыслу явился на свет. О многом он не задумывался, покуда Бог не прибрал Зину. К примеру, о том, что, оказывается, невероятно важно для каждого смертного, по крайней мере, для него уж точно, чтобы где-то, а лучше всего рядом, был бы человек, которому ничегошеньки от тебя не нужно, лишь бы ты был, лишь бы ты жил на этом свете и чтобы у тебя все ладилось.

В могилу за Зиной в одночасье не сойдешь, у каждого на то свой срок. Как говорится, куда денешься — судьба заставит, нужда заест, — пообвыкся, попритерся Палыч жить в одиночку, теперь даже самому Миколу, а тот известный кухонник, даст фору. Еще надо посмотреть, у кого полхлебка лучше получится. Почистить картошку или яишню сварнакать — это для Палыча теперь плевое дело. Только вот блины, хоть тресни, не получаются — то сгорят, то со сковородки не сойдут.

— Когда ж ты меня блины научишь печь? Ай забыл уговор? Обещался ведь!

— Ты опять за свое? — вспоминая первый незадавшийся урок, принимается корить Лексич друга, — сказано тебе: подмазывать сковородку надо полише. А ты — жирных не люблю, жирных душа не принимает. От масла-то еще ни один не ослеп. Знаешь побасенку, как бабка решила своего деда извести?

— Ну? — поскреб в голове, пытаюсь вспомнить, Палыч.

— Что ну? Напекла блинов, сдобривает маслом. И так-то ей для деда масла того жалко. Дед, не будь дурак, заприметил это дело и говорит: «Не лей ты столько масла, я от него слепну!»

— И что ж старуха?

— Знаю дело, что! Ей же заморить, в могилу деда спровадить охота. Вот она масла и подливает, и подливает. А дед знай себе блин за блином уплетает да в усы посмеивается... Не жалея масла-то, Митька! Будешь с блинами!

Уж и полдник отсипела в ходиках потерявшая счет своим летам кукушка, надо бы смириться: Витька теперь уже наверняка не покажется. Но Лексич все не угоманивается. Нет-нет да выбежит, по какому неважно делу, в сенцы, следом скрипнет крылечная дверь. Надоело Палычу наблюдать его жданки.

— Я вот что придумал, — сообщает он другу, в очередной раз возвратившемуся с улицы не солоно хлебавши. — А и правда твоя, может, избавь Бог, Витька блукает, давай-ка подвесим на клен какую-нито железяку и подадим ему на всякий случай знак. И потом — вдруг еще какой несчастный «лучится»? Мало ли кого запуржило сейчас в поле? Не ровен час кто окоченеет!

— Ну, ты и голова-а! — радуется Микола, кидается в чулан, где у него еще со времен работы в колхозе хранится всяческая железная рухлядь.

Бывало, покопается, повозится он в куче, сыщет нужную штуковину, глядишь, и завелся, и покатил вдоль Ракитенки его допотопный «Беларусь».

Выбирают, что позвончее. Примотав проволокой, подвешивают железяку на кленовом суку. Метелюга, бешено заламывая ветки, свистит и ярится в ракитенских деревьях, а те ноют и стонут, им уже и мочи не достаёт сопротивляться разыгравшейся катавасии. Старики по очереди принимаются колошматить по железке сысканным в том же чулане ржавым шкворнем.

— Дон-дон-дон! Дон-тирли-дон! — порывы ветра вместе с охалками снега уносят эти звуки куда-то за Пронырку, все дальше, дальше... может, долетят они даже до переметенного вдоль и поперек большака, может, и до самого райцентра?..

Возвернувшись восвояси и пригубив «для сугреву, чтоб не зашмыркать носом», старики приободряются, словно свершили какое-то очень важное, очень нужное человечеству дело и теперь со спокойными сердцами могут продолжать балакать о всяком-разном, своем.

До позднего вечера слушает и слушает Песик сквозь дремную дрему их разговоры: «А помнишь?..», «Или вот еще случай...»

Текут и текут чередой, друг за дружкой, их воспоминания, словно снова, заплатив за пережитое больше, чем сторицей, плывут они от самого истока по полноводной, лишь в редкую стежку спокойной, в основном бурливой и опасной своей непредсказуемостью реке... реке простой мужицкой жизни длиною в восемьдесят лет. Вот-вот, уже совсем рядом, где-то за ближайшим поворотом, растворятся в тумане вечности их судьбы.

